

**АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ**

**ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ  
ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ**

Список школьной литературы 9 класс

Александр Радищев  
**Путешествие из  
Петербурга в Москву**

«Public Domain»

1790

## **Радищев А. Н.**

Путешествие из Петербурга в Москву / А. Н. Радищев — «Public Domain», 1790 — (Список школьной литературы 9 класс)

Александр Радищев – русский литератор-революционер, по выражению Екатерины II, «бунтовщик хуже Пугачева», – писатель глубокий и смелый. За книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева посадили в Петропавловскую крепость. Суд приговорил его к смертной казни, которую императрица заменила лишением чинов и дворянства и ссылкой в сибирский острог. Эта книга – редчайший по силе просветительский трактат, написанный в виде путевых очерков, где и точные наблюдения путешественника, и вдохновенные лирические отступления увлекают читателя к сопереживанию и соразмышлению: что есть Россия, что для нее благо и что зло.

© Радищев А. Н., 1790

© Public Domain, 1790

## Содержание

Выезд	6
София	7
Тосна	8
Любани	9
Чудово	11
Спасская полесь	15
Подберезье	24
Новгород	27
Из летописи новгородской	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

# Александр Николаевич Радищев

## Путешествие из Петербурга в Москву

*«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».*  
*«Тилемахида», том II, кн. XVIII, стих 514*

А. М. К.

Любезнейшему другу.

Что бы разум и сердце произвести ни захотели, тебе оно, о! сочувственник мой, посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно – и ты мой друг.

Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом. «Отыми завесу с очей природного чувствования – и блажен буду». Сей глас природы раздавался громко в сложении моем. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и – веселие неизреченное! – я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благоденствии себе подобных. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь. Но если, говорил я сам себе, я найду кого-либо, кто намерение мое одобрит, кто ради благой цели не опорочит неудачное изображение мысли; кто состраждет со мною над бедствиями собратии своей, кто в шествии моем меня подкрепит, – не сугубый ли плод произойдет от поднятого мною труда?.. Почто, почто мне искать далеко кого-либо? Мой друг! ты близ моего сердца живешь – и имя твое да озарит сие начало.

## Выезд

Отужинав с моими друзьями, я лег в кибитку. Ямщик по обыкновению своему поскакал во всю лошадиную мочь, и в несколько минут я был уже за городом. Расставаться трудно хотя на малое время с тем, кто нам нужен стал на всякую минуту бытия нашего. Расставаться трудно; но блажен тот, кто расстаться может не улыбаясь; любовь или дружба стрегут его утешение. Ты плачешь, произнося «прости»; но вспомни о возвращении твоём, и да исчезнут слезы твои при сем воображении, яко роса пред лицом солнца. Блажен возрыдавший, надеясь на утешителя; блажен живущий иногда в будущем; блажен живущий в мечтании. Существо его усугубляется, веселия множатся, и спокойствие упреждает нахмуренность грусти, распложая образы радости в зеркалах воображения. – Я лежу в кибитке. Звон почтового колокольчика, наскучив моим ушам, призвал наконец благодетельного Морфея. Горесть разлуки моя, преследуя за мною в смертоподобное мое состояние, представила меня воображению моему уединенна. Я зрел себя в пространной долине, потерявшей от солнечного зноя всю приятность и пестроту зелени; не было тут источника на прохлаждение, не было древесных сени на умерение зноя. Един, оставлен, среди природы пустынный! Вострепетал. – Несчастной, – возопил я, – где ты? где девалося все, что тебя прельщало? где то, что жизнь твою делало тебе приятною? Неужели веселости, тобою вкушенные, были сон и мечта? – По счастью моему случившаяся на дороге рытвина, в которую кибитка моя толкнулась, меня разбудила. Кибитка моя остановилась. Приподнял я голову. Вижу: на пустом месте стоит дом в три жилья. – Что такое? – спрашивал я у повозчика моего. – Почтовый двор. – Да где мы? – В Софии, – и между тем выпрягал лошадей.

## София

Повсюду молчание. Погруженный в размышлениях, не заметил я, что кибитка моя давно уже без лошадей стояла. Привезший меня извозчик извлек меня из задумчивости. – Барин-батюшка, на водку! – Сбор сей хотя не законной, но охотно всякой его платит, дабы не ехать по указу. – Двадцать копеек послужили мне в пользу. Кто ездил на почте, тот знает, что подорожная есть оберегательное письмо, без которого всякому кошельку, – генеральской, может быть, исключая, – будет накладно. Вынув ее из кармана, я шел с нею, как ходят иногда для защиты своей со крестом.

Почтового комиссара нашел я храпящего; легонько взял его за плечо. – Кого черт давит? Что за манер выезжать из города ночью. Лошадей нет; очень еще рано; взойди, пожалуй, в трактир, выпей чаю или усни. – Сказав сие, г. комиссар отворотился к стене и паки захрапел. Что делать? Потряс я комиссара опять за плечо. – Что за пропасть, я уже сказал, что нет лошадей, – и, обернув голову одеялом, г. комиссар от меня отворотился. – Если лошади все в разгоне, – размышлял я, – то несправедливо, что я мешаю комиссару спать. А если лошади в конюшне... – Я вознамерился узнать, правду ли г. комиссар говорил. Вышел на двор, сыскал конюшню и нашел в оной лошадей до двадцати; хотя, правду сказать, кости у них были видны, но меня бы дотащили до следующего стана. Из конюшни я опять возвратился к комиссару; потряс его гораздо крепче. Казалось мне, что я к тому имел право, нашед, что комиссар солгал. Он второпях вскочил и, не продрав еще глаз, спрашивал: – Кто приехал? не... – но опомнившись, увидя меня, сказал мне: – Видно, молодец, ты обык так обходиться с прежними ямщиками. Их бивали палками; но ныне не прежняя пора. – Со гневом г. комиссар лег спать в постелю. Мне его так же хотелось попотчевать, как прежних ямщиков, когда они в обмане приличались; но щедрость моя, давая на водку городскому повозчику, побудила софийских ямщиков запрячь мне поскорее лошадей, и в самое то время, когда я намерялся сделать преступление на спине комиссарской, зазвенел на дворе колокольчик. Я пребыл доброй гражданин. И так двадцать медных копеек избавили миролюбивого человека от следствия, детей моих от примера невоздержания во гневе, и я узнал, что рассудок есть раб нетерпеливости.

Лошади меня мчат; извозчик мой затянул песню, по обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого. – На сем музыкальном расположении народного уха умеи учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего народа. Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива. Если захочет разгнать скуку или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. Бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обгаренный кровию от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории российской.

Извозчик мой поет. – Третий был час пополночи. Как прежде колокольчик, так теперь его песня произвела опять во мне сон. – О природа, объяв человека в пелены скорби при рождении его, влача его по строгим хребтам боязни, скуки и печали чрез весь его век, дала ты ему в отраду сон. – Уснул, и все скончалось. Несносно пробуждение несчастному. О, сколь смерть для него приятна. А есть ли она конец скорби? – Отче всеблагий, неужели отвратишь взоры свои от скончающегося бедственное житие свое мужественно? Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глас отчий, взывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, тебе ее и возвращаю; на земли она стала уже бесполезна.

## Тосна

Поехавши из Петербурга, я воображал себе, что дорога была наилучшая. Таковую ее почитали все те, которые ездили по ней вслед государя. Такова она была действительно, но на малое время. Земля, насыпанная на дороге, сделав ее гладкою в сухое время, дождями разжиженная, произвела великую грязь среди лета и сделала ее непроходимую... Обеспокоен дурною дорогою, я, встав из кибитки, вошел в почтовую избу, в намерении отдохнуть. В избе нашел я проезжающего, который, сидя за обыкновенным длинным крестьянским столом в переднем углу, разбирал бумаги и просил почтового комиссара, чтобы ему поскорее велел дать лошадей. На вопрос мой – кто он был? – узнал я, что то был старого покрою стряпчий, едуший в Петербург с великим множеством изодранных бумаг, которые он тогда разбирал. Я немедля вступил с ним в разговор, и вот моя с ним беседа: – Милостивый государь! Я, нижайший ваш слуга, быв регистратором при разрядном архиве, имел случай употребить место мое себе в пользу. Посильными моими трудами я собрал родословную, на ясных доводах утвержденную, многих родов российских. Я докажу княжеское или благородное их происхождение за несколько сот лет. Я восстановлю нередкого в княжеское достоинство, показав от Владимира Мономаха или от самого Рюрика его происхождение. Милостивый государь! – продолжал он, указывая на свои бумаги, – все великороссийское дворянство долженствовало бы купить мой труд, заплатя за него столько, сколько ни за какой товар не платят. Но, с дозволения вашего высокородия, благородия или высокоблагородия, не ведаю, как честь ваша, они не знают, что им нужно. Известно вам, сколько блаженныя памяти благоверный царь Федор Алексеевич российское дворянство обидел, уничтожив местничество. Сие строгое законоположение поставило многие честные княжеские и царские роды наравне с новгородским дворянством. Но благоверный же государь император Петр Великий совсем привел их в затмение своею табелью о рангах. Открыл он путь через службу военную и гражданскую всем к приобретению дворянского титула и древнее дворянство, так сказать, затоптал в грязь. Ныне всемилостивейше царствующая наша мать утвердила прежние указы высочайшим о дворянстве положением, которое было всех степенных наших востревожило, ибо древние роды поставлены в дворянской книге ниже всех. Но слух носится, что в дополнение вскоре издан будет указ и тем родам, которые дворянское свое происхождение докажут за 200 или 300 лет, приложится титуло маркиза или другое знатное, и они пред другими родами будут иметь некоторую отличность. По сей причине, милостивейший государь! труд мой должен весьма быть приятен всему древнему благородному обществу; но всяк имеет своих злодеев.

В Москве завернулся я в компанию молодых господчиков и предложил им мой труд, дабы благосклонностию их возвратить хотя истраченную бумагу и чернила; но вместо благоприящества попал в посмеяние и, с горя оставив столичный сей град, вдалься пути до Питера, где, известно, гораздо больше просвещения. – Сказав сие, поклонился мне об руку и, вытянувшись прямо, стоял передо мною с величайшим благоговением. Я понял его мысль, вынул из кошелька... и, дав ему, советовал, что, приехав в Петербург, он продал бы бумагу свою на вес разносчикам для обертки; ибо мнимое маркизство скружить может многим голову, и он причиною будет возрождению истребленного в России зла – хвастовства древния породы.

## Любани

Зимою ли я ехал или летом, для вас, думаю, равно. Может быть, и зимою и летом. Нередко то бывает с путешественниками: поедут на санях, а возвращаются на телегах. – Летом. – Бревешками вымощенная дорога замучила мои бока; я вылез из кибитки и пошел пешком. Лежа в кибитке, мысли мои обращены были в неизмеримость мира. Отделяясь душевно от земли, казалось мне, что удары кибиточные были для меня легче. – Но упражнения духовные не всегда нас от телесности отвлекают; и для сохранения боков моих пошел я пешком. – В нескольких шагах от дороги увидел я пашущего ниву крестьянина. Время было жаркое. Посмотрел я на часы. – Первого сорок минут. Я выехал в субботу. Сегодня праздник. – Пашущий крестьянин принадлежит, конечно, помещику, которой оброку с него не берет. – Крестьянин пашет с великим тщанием. – Нива, конечно, не господская. Соху поворачивает с удивительной легкостью. – Бог в помощь, – сказал я, подошед к пахарю, которой, не останавливаясь, доканчивал зачатую борозду. – Бог в помощь, – повторил я. – Спасибо, барин, – говорил мне пахарь, отряхая сошник и перенося соху на новую борозду. – Ты, конечно, раскольник, что пашешь по воскресеньям? – Нет, барин, я прямым крестом крещусь, – сказал он, показывая мне сложенные три перста. – А бог милостив, с голоду умирать не велит, когда есть силы и семья. – Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенью не спускаешь, да еще и в самый жар? – В неделе-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на барщину; да под вечером возим оставшее в лесу сено на господский двор, коли погода хороша; а бабы и девки для прогулки ходят по праздникам в лес по грибы да по ягоды. Дай бог, – крестясь, – чтоб под вечер сегодня дождик пошел. Барин, коли есть у тебя свои мужички, так они того же у господина молят. – У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет. Велика ли у тебя семья? – Три сына и три дочки. Первьинькому-то десятый годок. – Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным? – Не одни праздники, и ночь наша. Не ленись наш брат, то с голоду не умрет. Видишь ли, одна лошадь отдыхает; а как эта устанет, возьмусь за другую; дело-то и споро. – Так ли ты работаешь на господина своего? – Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты счет знаешь. Да хотя растянишь на барской работе, то спасибо не скажут. Барин подушных не заплатит; ни барана, ни холста, ни курицы, ни масла не уступит. То ли житье нашему брату, как где барин оброк берет с крестьянина, да еще без приказчика. Правда, что иногда и добрые господа берут более трех рублей с души; но все лучше барщины. Ныне еще поверье заводится – отдавать деревни, как то называется, на аренду. А мы называем это отдавать головой. Голый наемник дерет с мужиков кожу; даже лучшей поры нам не оставляет. Зимою не пускает в извоз, ни в работу в город; все работай на него, для того что он подушные платит за нас. Самая дьявольская выдумка отдавать крестьян своих чужому в работу. На дурного приказчика хотя можно пожаловаться, а на наемника кому? – Друг мой, ты ошибаешься, мучить людей законы запрещают. – Мучить? Правда; но небось, барин, не захочешь в мою кожу. – Между тем пахарь запряг другую лошадь в соху и, начав новую борозду, со мною простился.

Разговор сего земледельца возбудил во мне множество мыслей. Первое представилось мне неравенство крестьянского состояния. Сравнил я крестьян казенных с крестьянами помещичьими. Те и другие живут в деревнях; но одни платят известное, а другие должны быть готовы платить то, что господин хочет. Одни судятся своими равными; а другие в законе мертвы, разве по делам уголовным. Член общества становится только тогда известен правительству, его охраняющему, когда нарушает союз общественный, когда становится злодей! Сия мысль всю кровь во мне воспалила. – Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение. – Углубленный в сих размышлениях, я нечаянно обра-

тил взор мой на моего слугу, который, сидя на кибитке передо мной, качался из стороны в сторону. Вдруг почувствовал я быстрый мраз, протекающий кровь мою, и, прогоняя жар к вершинам, нудил его распростираться по лицу. Мне так стало во внутренности моей стыдно, что едва я не заплакал. – Ты во гневе твоём, – говорил я сам себе, – устремляешься на гордого господина, изнуряющего крестьянина своего на ниве своей; а сам не то же ли или еще хуже того делаешь? Какое преступление сделал бедный твой Петрушка, что ты ему воспрещаешь пользоваться усладителем наших бедствий, величайшим даром природы несчастному – сном? Он получает плату, сыт, одет, никогда я его не секу ни плетьюми, ни батожем (о умеренный человек!), – и ты думаешь, что кусок хлеба и лоскут сукна тебе дают право поступать с подобным тебе существом, как с кубарем, и тем ты только хвастаешь, что не часто подсекаешь его в его вертении. Ведаешь ли, что в первенственном уложении, в сердце каждого написано? Если я кого ударю, тот и меня ударить может. – Вспомни тот день, как Петрушка пьян был и не поспел тебя одеть. Вспомни о его пощечине. О, если бы он тогда, хотя пьяной, опомнился и тебе отвечал бы соразмерно твоему вопросу! – А кто тебе дал власть над ним? – Закон. – Закон? И ты смеешь поносить сие священное имя? Несчастный!.. – Слезы потекли из глаз моих; и в таком положении почтовые клячи дотащили меня до следующего стана.

## ЧУДОВО

Не успел я войти в почтовую избу, как услышал на улице звук почтового колокольчика, и чрез несколько минут вошел в избу приятель мой Ч... Я его оставил в Петербурге, и он намерения не имел оттуда выехать так скоро. Особливое происшествие побудило человека нраву крутого, как то был мой приятель, удалиться из Петербурга, и вот что он мне рассказал.

– Ты был уже готов к отъезду, как я отправился в Петергоф. Тут я препроводил праздники столь весело, сколько в шуму и чаду веселиться можно. Но, желая поездку мою обратить в пользу, вознамерился съездить в Кронштат и на Систербек, где, сказывали мне, в последнее время сделаны великие перемены. В Кронштате прожил я два дня с великим удовольствием, насыщая зрением множества иностранных кораблей, каменной одежды крепости Кронштатской и строений, стремительно возвышающихся. Любопытствовал посмотреть нового Кронштату плана и с удовольствием предусматривал красоту намереваемого строения; словом, второй день пребывания моего кончился весело и приятно. Ночь была тихая, светлая, и воздух благорастворенной вливал в чувства особую нежность, которую лучше ощущать, нежели описать удобно. Я вознамерился в пользу употребить благодать природы и насладиться еще один хотя раз в жизни великолепным зрелищем восхождения солнца, которого на гладком водяном горизонте мне еще видеть не удавалось. Я нанял морскую 12-весельную шлюпку и отправился на С...

Версты с четыре плыли мы благополучно. Шум весел единозвучностию своею возбудил во мне дремоту, и томное зрение едва ли воспрядало от мгновенного блеска падающих капель воды с вершины весел. Стихотворческое воображение преселяло уже меня в прелестные луга Пафоса и Амафонта. Внезапу острый свист возникающего вдали ветра разгнал мой сон, и отягченными взорам моим представлялися сгущенные облака, коих черная тяжесть, казалось, стремилась их нам на главу и падением устрасала. Зерцаловидная поверхность вод начинала рябеть, и тишина уступала место начинающемуся плесканию валов. Я рад был и сему зрелищу; соглядал величественные черты природы и не в чванство скажу: что других утрашивать начинало, то меня веселило. Воскликнул изредка, как Вернет: – Ах, как хорошо! – Но ветер, усиливаясь постепенно, понуждал думать о достижении берега. Небо от густоты непрозрачных облаков совсем померкло. Сильное стремление валов отнимало у кормила направление, и порывистый ветер, то вознося нас на мокрые хребты, то низвергая в утесистые рытвины водяных зыбей, отнимал у гребущих силу шестивенного движения. Следуя поневоле направлению ветра, мы носились наудачу. Тогда и берега начали бояться; тогда и то, что бы нас при благополучном плавании утешать могло, начинало приводить в отчаяние. Природа завистливою нам на сей час казалася, и мы на нее негодовали теперь за то, что не распростирала ужасного своего величества, сверкая в молнии и слух тревожа громовым треском. Но надежда, преследуя человека до крайности, нас укрепляла, и мы, елико нам возможно было, ободряли друг друга.

Носимые валами, внезапно судно наше остановилось недвижимо. Все наши силы, совокупно употребленные, не были в состоянии совратить его с того места, на котором оно стояло. Упражняясь в сведении нашего судна с мели, как то мы думали, мы не приметили, что ветер между тем почти совсем утих. Небо помалу очистилось от затмевавших синеву его облаков. Но восходящая заря вместо того, чтоб принести нам отраду, явила нам бедственное наше положение. Мы узрели ясно, что шлюпка наша не на мели находилась, но погрязла между двух больших камней, и что не было никаких сил для ее избавления оттуда невредимо. Вообрази, мой друг, наше положение; все, что я ни скажу, все слабо будет в отношении моего чувства. Да и если б я мог достаточные дать черты каждому души моего движению, то слабы еще были бы они для произведения в тебе подобного тем чувствованиям, какие в душе моей возникали и теснились тогда. Судно наше стояло на середине гряды каменной, замыкающей залив,

до С... простирающийся. Мы находились от берега на полторы версты. Вода начинала проходить в судно наше со всех сторон и угрожала нам совершенным потоплением. В последний час, когда свет от нас преходить начинает и отверзается вечность, ниспадают тогда все степени, мнением между человеков воздвигнутые. Человек тогда становится просто человек: так, видя приближающуюся кончину, забыли все мы, кто был какого состояния, и помышляли о спасении нашем, отливая воду, как кому споручно было. Но какая была в том польза? Колико воды союзными нашими силами было исчерпаемо, толико во мгновение паки накоплялося. К крайнему сердец наших сокрушению, ни вдали, ни вблизи не видно было мимоидущего судна. Да и то, которое бы подало нам отраду, явясь взорам нашим, усугубило бы отчаяние наше, удаляясь от нас и избегая равных с нами участи. Наконец, судна нашего правитель, более нежели все другие к опасностям морских происшествий обыкший, взиравший поневоле, может быть, на смерть хладнокровно в разных морских сражениях в прошедшую турецкую войну в Архипелаге, решился или нас спасти, спасаясь сам, или погибнуть в сем благом намерении: ибо, стоя на одном месте, погибнуть бы нам должно было. Он, вышед из судна и перебираясь с камня на камень, направил шествие свое к берегу, сопровождаем чистосердечнейшими нашими молитвами. Сначала продолжал он шествие свое весьма бодро, прыгая с камня на камень, переходя воду, где она была мелка, переплывая ее, где она глубже становилась. Мы с глаз его не спускали. Наконец увидели, что силы его начали ослабевать, ибо он переходил камни медлительнее, останавливаясь почасту и садясь на камень для отдохновения. Казалось нам, что он находился иногда в размышлении и нерешимости о продолжении пути своего. Сие побудило одного из его товарищей ему преследовать, дабы подать ему помощь, если он увидит его изнемогающего в достижении берега, или достигнуть оно, если первому в том будет неудача. Взоры наши стремились вослед то за тем, то за другим, и молитва наша о их сохранении была нелицемерна. Наконец последний из сих подражателей Моисея в прохождении без чуда морския пучины своими стопами остановился на камне недвижим, а первого совсем мы потеряли из виду.

Сокровенные доселе внутренние каждого движения, заклепанные, так сказать, ужасом, начали являться при исчезании надежды. Вода между тем в судне умножалась, и труд наш, возрастая в отливании оной, утомлял силы наши приметно. Человек яркого и нетерпеливого сложения рвал на себе волосы, кусал персты, проклинал час своего выезда. Человек робкия души и чувствовавший долго, может быть, тягость удручительных неволи рыдал, орошая слезами своими скамью, на которой ниц распростерт лежал. Иной, вспоминая дом свой, детей и жену, сидел яко окаменелый, помышляя не о своей, но о их гибели, ибо они питались его трудами. Каково было моей души положение, мой друг, сам отгадывай, ибо ты меня довольно знаешь. Скажу только тебе то, что я прилежно молился богу. Наконец начали мы все предаваться отчаянию, ибо судно наше более половины водою натекло, и мы стояли все в воде по колено. Нередко помышляли мы выйти из судна и шествовать по каменной гряде к берегу, но пребывание одного из наших сопутников на камне уже несколько часов и скрытие другого из виду представляло нам опасность перехода более, может быть, нежели она была в самом деле. Среди таковых горестных размышлений увидели мы близ противоположного берега, в расстоянии от нас каком то было, точно определить не могу, два пятна черные на воде, которые, казалось, двигались. Зримое нами нечто черное и движущееся, казалось, помалу увеличивалось; наконец, приближаясь, представило ясно взорам нашим два малые судна, прямо идущие к тому месту, где мы находились среди отчаяния, во сто крат надежду превосходящего. Как в темной храмине, свету совсем неприступной, вдруг отверзается дверь и луч денный, влетев стремительно в среду мрака, разгоняет оный, распростирался по всей храмине до дальнейших ее пределов, – тако, увидев суда, луч надежды ко спасению протек наши души. Отчаяние превратилось в восторг, горесть в восклицание, и опасно было, чтобы радостные телодвижения и плескания не навлекли нам гибели скорее, нежели мы будем исторгнуты из опасности. Но надежда жития, возвращаясь в сердца, возбудила паки мысли о различии состояний, в опас-

ности уснувшие. Сие послужило на сей раз к общей пользе. Я укротил излишнее радование, во вред обратиться могущее. По несколько времени увидели мы две большие рыбацьи лодки, к нам приближающиеся, и, при настижении их до нас, увидели в одной из них нашего спасителя, который, прошед каменною грядою до берега, сыскал сии лодки для нашего извлечения из явной гибели. Мы, не мешкав нисколько, вышли из нашего судна и поплыли в приехавших судах к берегу, не забыв снять с камня сотоварища нашего, которой на оном около семи часов находился. Не прошло более получаса, как судно наше, стоявшее между камней, облегченное от тяжести, всплыло и развалилось совсем. Плывучи к берегу среди радости и восторга спасения, Павел, – так звали спасшего нас сопутника, – рассказал нам следующее.

– Я, оставя вас в предстоящей опасности, спешил по камням к берегу. Желание вас спасти дало мне силы чрезвычайные; но сажень за сто до берега силы мои стали ослабевать, и я начал отчаиваться в вашем спасении и моей жизни. Но, полежав с полчаса на камени, впрянувшись с новою бодростью и не отдыхая более, дополз, так сказать, до берега. Тут я растянулся на траве и, отдохнув минут десять, встал и побежал вдоль берега к С..., что имел мочи. И хотя с немалым истощением сил, но, вспоминая о вас, добежал до места. Казалось, что небо хотело испытать вашу твердость и мое терпение, ибо я не нашел ни вдоль берега, ни в самом С... никакого судна для вашего спасения. Находясь почти в отчаянии, я думал, что нигде не можно мне лучше искать помощи, как у тамошнего начальника. Я побежал в тот дом, где он жил. Уже был седьмой час. В передней комнате нашел я тамошней команды сержанта. Рассказав ему коротко, зачем я пришел и ваше положение, просил его, чтобы он разбудил г..., которой тогда еще почивал. Г. сержант мне сказал: – Друг мой, я не смею. – Как, ты не смеешь? Когда двадцать человек тонут, ты не смеешь разбудить того, кто их спасти может? Но ты, бездельник, лжешь, я сам пойду... – Г. сержант, взяв меня за плечо не очень учтиво, вытолкнул за дверь. С досады чуть я не лопнул. Но, помня более о вашей опасности, нежели о моей обиде и о жестокосердии начальника с его подчиненным, я побежал к караульной, которая была версты с две расстоянием от проклятого дома, из которого меня вытолкнули. Я знал, что живущие в ней солдаты содержали лодки, в которых, ездя по заливу, собирали булыжник на продажу для мостовых; я и не ошибся в моей надежде. Нашел сии две небольшие лодки, и радость теперь моя несказанна: вы все спасены. Если бы вы утонули, то я бы бросился за вами в воду. – Говоря сие, Павел обливался слезами. Между тем достигли мы берега. Вышед из судна, я пал на колени, возвел руки на небо. – Отче всемогущий, – возопил я, – тебе угодно, да живем; ты нас водил на испытание, да будет воля твоя. – Се слабое, мой друг, изображение того, что я чувствовал. Ужас последнего часа прободал мою душу, я видел то мгновение, что я существовать перестану. Но что я буду? Не знаю. Страшная неизвестность. Теперь чувствую: час бьет; я мертв; движение, жизнь, чувство, мысль – все исчезнет мгновенно. Вообрази себя, мой друг, на краю гроба, не почувствуешь ли корчащийся мраз, лиющийся в твоих жилах и завершенно жизнь пресекающий. О, мой друг! – Но я удалился от моего повествования.

Совершив мою молитву, ярость вступила в мое сердце. Возможно ли, говорил я сам себе, чтоб в наш век, в Европе, подле столицы, в глазах великого государя совершалось такое бесчеловечие! Я вспомню о заключенных агличанах в темнице бенгальского субаба.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Агличане приняли в свое покровительство ушедшего к ним в Калкату чиновника бенгальского, подвергнувшего себя казни своим издевательством. Справедливо раздраженный субаб, собрав войско, приступил к городу и оный взял. Аглинских военнопленных велел ввергнуть в тесную темницу, в коей они в полсутки издохли. Осталось от них только двадцать три человека. Несчастные сии сулили страже великие деньги, да возвестит владельцу о их положении. Вопль их и стенание возвещало о том народу, о них соблазнительно; но никто не хотел возвестить о том властителю. «Почивает он», – ответствовано умирающим агличанам; и ни один человек в Бенгале не мнил, что для спасения жизни ста пятидесяти несчастных должно отъяти сон мучителя на мгновение. Но что ж такое мучитель? Или паче, что ж такое народ, обыкший к игу мучительства? Благоговение ли или боязнь тягчит его согбенна? Если боязнь, то мучитель ужаснее богов, к коим человек воссылает или молитву, или жалобу во времена ночи или в часы дневные. Если благоговение, то возможно человека возбудить на почитание соделателей его бедствий: чудо, возможное единому суеверию. Чему более удивляться, зверству ли спящего набаба или подлости не сме-

Воздохнул я во глубине души. – Между тем дошли мы до С... Я думал, что начальник, проснувшись, накажет своего сержанта и претерпевшим на воде даст хотя успокоение. С сею надеждою пошел я прямо к нему в дом. Но поступком его подчиненного столь был раздражен, что я не мог умерить своих слов. Увидев его, сказал: – Государь мой! Известили ли вас, что за несколько часов пред сим двадцать человек находились в опасности потерять живот свой на воде и требовали вашей помощи? – Он мне отвечал с наивеличайшею холодностию, куря табак: – Мне о том сказали недавно, а тогда я спал. – Тут я задрожал в ярости человечества. – Ты бы велел себя будить молотком по голове, буде крепко спишь, когда люди тонут и требуют от тебя помощи. – Отгадай, мой друг, какой его был ответ. Я думал, что мне сделается удар от того, что я слышал. Он мне сказал: – Не моя то должность. – Я вышел из терпения: – Должность ли твоя людей убивать, скаредный человек; и ты носишь знаки отличности, ты начальствуешь над другими!.. – Окончать не мог моя речи, плюнул почти ему в рожу и вышел вон. Я волосы драл с досады. Сто делал расположений, как отмстить сему зверскому начальнику не за себя, но за человечество. Но, опомнясь, убедился воспоминанием многих примеров, что мое мщение будет бесплодно, что я же могу прослыть или бешеным, или злым человеком; смирился.

Между тем люди мои сходили к священнику, который нас принял с великою радостью, согрел нас, накормил, дал отдохновение. Мы пробыли у него целые сутки, пользуясь его гостеприимством и угощением. На другой день, нашед большую шлюпку, доехали мы до Ораниенбаума благополучно. В Петербурге я о сем рассказывал тому и другому. Все сочувствовали мою опасность, все хулили жестокосердие начальника, никто не захотел ему о сем напомнить. Если бы мы потонули, то бы он был нашим убийцею. – Но в должности ему не предписано вас спасать, – сказал некто. – Теперь я прошусь с городом навеки. Не въеду николи в сие жилище тигров. Единое их веселие – грызть друг друга; отрада их – томить слабого до издыхания и раболепствовать власти. И ты хотел, чтоб я поселился в городе. Нет, мой друг, – говорил мой повествователь, вскочив со стула, – заеду туда, куда люди не ходят, где не знают, что есть человек, где имя его неизвестно. Прости, – сел в кибитку и поскакал.

## Спасская полость

Я вслед за моим приятелем скакал так скоро, что настиг его еще на почтовом стану. Старался его уговорить, чтоб возвратился в Петербург, старался ему доказать, что малые и частные неурядицы в обществе связи его не разрушат, как дробинка, падая в пространство моря, не может возмутить поверхности воды. Но он мне сказал наотрез: – Когда бы я, малая дробинка, пошел на дно, то бы, конечно, на Финском заливе бури не сделалось, а я бы пошел жить с тюленями. – И, с видом негодования простясь со мною, лег в свою кибитку и поехал поспешно.

Лошади были уже впряжены; я уже ногу занес, чтобы влезть в кибитку, как вдруг дождь пошел. – Беда невелика, – размышлял я, – закроюсь ценовкой и буду сух. – Но едва мысль сия в мозге моем пролетела, то как будто меня окунули в пролубь. Небо, не спросясь со мною, разверзло облако, и дождь лил ведром. – С погодою не сладись; по пословице: тише едешь – дале будешь, – вылез я из кибитки и убежал в первую избу. Хозяин уже ложился спать, и в избе было темно, но я и в потемках выпросил позволение обсушиться. Снял с себя мокрое платье и, что было посуше положив под голову, на лавке скоро заснул. Но постеля моя была не пуховая, долго нежиться не позволила. Проснувшись, услышал я шепот. Два голоса различить я мог, которые между собою разговаривали. – Ну, муж, Расскажи-тка, – говорил женской голос. – Слушай, жена.

– Жил-был... – И подлинно на сказку похоже; да как же сказке верить, – сказала жена вполголоса, зевая ото сна, – поверю ли я, что были Полкан, Бова или Соловей-разбойник. – Да кто тебя толкает в шею, верь, коли хочешь. Но то правда, что в старину силы телесные были в уважении и что силачи оные употребляли во зло. Вот тебе Полкан. А о Соловье-разбойнике читай, мать моя, истолкователей русских древностей. Они тебе скажут, что он Соловьем назван красноречия своего ради. Не перебивай же моей речи. Итак, жил-был где-то государев наместник. В молодости своей таскался по чужим землям, выучился есть устерсы и был до них великий охотник. Пока деньжонок своих мало было, то он от охоты своей воздерживался, едал по десятку, и то когда бывал в Петербурге. Как скоро полез в чины, то и число устерсов на столе его начало прибавляться. А как попал в наместники и когда много стало у него денег своих, много и казенных в распоряжении, тогда стал он к устерсам как брюхатая баба. Спит и видит, чтобы устерсы кушать. Как пора их приходит, то нет никому покою. Все подчиненные становятся мучениками. Но во что бы то ни стало, а устерсы есть будет. – В правление посылает приказ, чтобы наряжен был немедленно курьер, которого он имеет в Петербург отправить с важными донесениями. Все знают, что курьер поскочет за устерсами, но куда ни вертись, а прогоны выдавай. На казенные денежки дыр много. Гонец, снабженный подорожною, прогонами, совсем готов, в куртке и чикчерах явился пред его высокопревосходительство. – Поспешай, мой друг, – вещает ему униженный орденами, – поспешай, возьми сей пакет, отдай его в Большой Морской. – Кому прикажете? – Прочти адрес. – Его... его... – Не так читаешь. – Государю моему гос... – Врешь... господину Корзинкину, почтенному лавошнику, в С. Петербурге в Большой Морской. – Знаю, ваше высокопревосходительство. – Ступай же, мой друг, и как скоро получишь, то возвращайся поспешно и нимало не медли; я тебе скажу спасибо не одно.

И ну-ну-ну, ну-ну-ну: по всем по трем, вплоть до Питера, к Корзинкину прямо на двор. – Добро пожаловать. Куды какой его высокопревосходительство затейник, из-за тысячи верст шлет за какою дрянью. Только барин доброй. Рад ему служить. Вот устерсы теперь лишь с биржи. Скажи, не меньше ста пятидесяти бочка, уступить нельзя, самим пришли дороги. Да мы с его милостию сочтемся. – Бочку взвалили в кибитку; поворотя оглобли, курьер уже опять скачет; успел лишь зайти в кабак и выпить два крючка сивухи.

Тинь-тинь... Едва у городских ворот услышали звон почтового колокольчика, караульный офицер бежит уже к наместнику (то ли дело, как где все в порядке) и рапортует ему, что вдали видна кибитка и слышен звон колокольчика. Не успел выговорить, как шасть курьер в двери: – Привез, выше высокопревосходительство. – Очень кстати. (Оборотясь к предстоящим:) Право, человек достойной, исправен и не пьяница. Сколько уже лет по два раза в год ездит в Петербург; а в Москву сколько раз, упомянуть не могу. Секретарь, пиши представление. За многочисленные его в посылках труды и за точнейшее оных исправление удостоиваю его к повышению чином...

В расходной книге у казначея записано: по предложению его высокопревосходительства дано курьеру Н. Н., отправленному в С.-П. с наинужнейшими донесениями, прогонных денег в оба пути на три лошади из экстраординарной суммы... Книга казначейская пошла на ревизию, но устерсами не пахнет.

По представлению господина генерала и проч. ПРИКАЗАЛИ: быть сержанту Н. Н. прапорщиком. – Вот, жена, – говорил мужской голос, – как добиваются в чины, а что мне прибыли, что я служу беспорочно, не подамся вперед ни на палец. По указам велено за добропорядочную службу награждать. Но царь жалует, а псарь не жалует. Так-то наш г. казначей; уже другой раз по его представлению меня отсылают в уголовную палату. Когда бы я с ним был заодно, то бы было не житье, а масленица. – И... полно, Клементыч, пустяки-то молоть. Знаешь ли, за что он тебя не любит? За то, что ты промен берешь со всех, а с ним не делишься. – Потише, Кузьминична, потише; неравно кто подслушает. – Оба голоса умолкли, и я опять заснул.

Путру узнал я, что в одной избе со мною ночевал присяжный с женою, которые до света отправились в Новгород.

Между тем как в моей повозке запрягали лошадей, приехала еще кибитка, тройкою запряженная. Из нее вышел человек, закутанный в большую япанчу, и шляпа с распущенными полями, глубоко надетая, препятствовала мне видеть его лицо. Он требовал лошадей без подорожной; и как многие повозчики, окружив его, с ним торговались, то он, не дожидаясь конца их торга, сказал одному из них с нетерпением: – Запрягай поскорей, я дам по четыре копейки на версту. – Ямщик побежал за лошадьми. Другие, видя, что договариваться уже было не о чем, все от него отошли.

Я находился от него не далее как в пяти сажнях. Он, подошед ко мне и не снимая шляпы, сказал: – Милостивый государь, снабдите чем ни есть человека несчастного. – Меня сие удивило чрезмерно, и я не мог вытерпеть, чтоб ему не сказать, что я удивляюсь просьбе его о помощи, когда он не хотел торговаться о прогонах и давал против других вдвое. – Я вижу, – сказал он мне, – что в жизнь вашу поперечного вам ничего не встречалось. – Столь твердый ответ мне очень понравился, и я, не медля нимало, вынув из кошелька...: – Не осудите, – сказал, – более теперь вам служить не могу, но если доедем до места, то, может быть, сделаю что-нибудь больше. – Намерение мое при сем было то, чтобы сделать его чистосердечным; я и не ошибся. – Я вижу, – сказал он мне, – что вы имеете еще чувствительность, что обращение света и снискание собственной пользы не затворили вход ее в ваше сердце. Позвольте мне сесть на вашей повозке, а служителю вашему прикажите сесть на моей.

Между тем лошади наши были впряжены, я исполнил его желание – и мы едем.

– Ах, государь мой, не могу себе представить, что я несчастлив. Не более недели тому назад я был весел, в удовольствии, недостатка не чувствовал, был любим или так казалось; ибо дом мой всякий день был полон людьми, заслужившими уже знаки почестей; стол мой был всегда как великолепное некое торжество. Но если тщеславие толикое имело удовлетворение, равно и душа наслаждалась истинным блаженством. По многих сперва бесплодных стараниях, предприятиях и неудачах наконец получил я в жену ту, которую желал. Взаимная наша горячность, услаждая и чувства и душу, все представляла нам в ясном виде. Не зрели мы облачного

дня. Блаженства нашего достигали мы вершины. Супруга моя была беременна, и приближался час ее разрешения. Все сие блаженство определила судьба, да рушится одним мгновением.

У меня был обед, и множество так называемых друзей, собравшись, насыщали праздный свой голод на мой счет. Один из бывших тут, который внутренне меня не любил, начал говорить с сидевшим подле него, хотя вполголоса, но довольно громко, чтобы говоренное жене моей и многим другим слышно было.

– Неужели вы не знаете, что дело нашего хозяина в уголовной палате уже решено... —

– Вам покажется мудрено, – говорил спутник мой, обращая ко мне свое слово, – чтобы человек неслужащий и в положении, мною описанном, мог подвергнуть себя суду уголовному. И я так думал долго, да и тогда, когда мое дело, прошед нижние суды, достигло до высшего. Вот в чем оно состояло: я был в купечестве записан; пуская капитал мой в обращение, стал участником в частном откупу. Неосновательность моя причиною была, что я доверил лживому человеку, который, лично попавшись в преступлении, был от откупу отрешен, и, по свидетельству будто его книг, сделался, по-видимому, на нем большой начет. Он скрылся, я остался в лицах, и начет положено взыскать с меня. Я, сделав выправки сколько мог, нашел, что начету на мне или совсем бы не было или бы был очень малый, и для того просил, чтобы сделали расчет со мною, ибо я по нем был порукою. Но вместо того, чтобы сделать должное по моему прошению удовлетворение, велено недоимку взыскать с меня. Первое неправосудие. Но к сему присовокупили и другое. В то время как я сделался в откупу порукою, имущества за мною никакого не было, но по обыкновению послано было запрещение на имение мое в гражданскую палату. Странная вещь – запрещать продавать то, чего не существует в имении! После того купил я дом и другие сделал приобретения. В то же самое время случай допустил меня перейти из купеческого звания в звание дворянское, получа чин. Наблюдая свою пользу, я нашел случай продать дом на выгодных кондициях, совершив купчую в самой той же палате, где существовало запрещение. Сие поставлено мне в преступление; ибо были люди, которых удовольствие помрачалось блаженством моего жития. Стряпчий казенных дел сделал на меня донос, что я, избегая платежа казенной недоимки, дом продал, обманул гражданскую палату, назвавшись тем званием, в коем я был, а не тем, в котором находился при покупке дома. Тщетно я говорил, что запрещение не может существовать на то, чего нет в имении, тщетно я говорил, что по крайней мере надлежало бы сперва продать оставшееся имение и выручить недоимку сей продажей, а потом предпринимать другие средства; что я звания своего не утаивал, ибо в дворянском уже купил дом. Все сие было отринуту, продажа дому уничтожена, меня осудили за ложной мой поступок лишить чинов, – и требуют теперь, – говорил повествователь, – хозяйина здешнего в суд, дабы посадить под стражу до окончания дела. —

Сие последнее повествуя, рассказывающий возвысил свой голос. – Жена моя, едва сие услышала, обняв меня, вскричала: – Нет, мой друг, и я с тобою. – Более выговорить не могла. Члены ее все ослабели, и она упала бесчувственна в мои объятия. Я, подняв ее со стула, вынес в спальную комнату и не ведаю, как обед окончился.

Пришед чрез несколько времени в себя, она почувствовала муки, близкое рождение плода горячности нашей возвещающие. Но сколь ни жестоки они были, воображение, что я буду под стражею, столь ее тревожило, что она только и твердила: – И я пойду с тобою. – Сие несчастное приключение ускорило рождение младенца целым месяцем, и все способы бабки и доктора, для пособия призванных, были тщетны и не могли воспретить, чтобы жена моя не родила чрез сутки. Движения ее души не токмо с рождением младенца не успокоились, но усилившись гораздо, сделали ей горячку. – Почто распространяться мне в повествовании? Жена моя на третий день после родов своих умерла. Видя ее страдание, можете поверить, что я ее не оставлял ни на минуту. Дело мое и осуждение в горести позабыл совершенно. За день до кончины моей любезной незрелый плод нашея горячности также умер. Болезнь матери его занимала меня совсем, и потеря сия была для меня тогда невелика. Вообрази, – говорил

повествователь мой, взяв обеими руками себя за волосы, – вообрази мое положение, когда я видел, что возлюбленная моя со мною расставалась навсегда. – Навсегда! – вскричал он диким голосом. – Но зачем я бегу? Пускай меня посадят в темницу; я уже нечувствителен; пускай меня мучат, пускай лишают жизни. О варвары, тигры, змеи лютые, грызите сие сердце, пускайте в него томный ваш яд. – Извините мое исступление, я думаю, что я лишусь скоро ума. Сколь скоро воображу ту минуту, когда любезная моя со мною расставалась, то я все позабываю и свет в глазах меркнет. Но окончу мою повесть. В толико жестоком отчаянии, лежащу мне над бездыханным телом моей возлюбленной, один из искренних моих друзей прибежал ко мне: – Тебя пришли взять под стражу, команда на дворе. Беги отсель, кибитка у задних ворот готова, ступай в Москву или куда хочешь и живи там, доколе можно будет облегчить твою судьбу. – Я не внимал его речам, но он, усилясь надо мною и взяв меня с помощью своих людей, вынес и положил в кибитку; но вспомня, что надобны мне деньги, дал мне кошелек, в котором было только пятьдесят рублей. Сам пошел в мой кабинет, чтобы найти там денег и мне вынести; но, нашед уже офицера в моей спальне, успел только прислать ко мне сказать, чтобы я ехал. Не помню, как меня везли первую станцию. Слуга приятеля моего, рассказав все происшедшее, простился со мною, а я теперь еду, по пословице, – куда глаза глядят.

Повесть спутника моего тронула меня несказанно. Возможно ли, говорил я сам себе, чтобы в толь мягкосердое правление, каково ныне у нас, толикие производились жестокости? Возможно ли, чтобы были столь безумные судии, что для насыщения казны (можно действительно так назвать всякое неправильное отнятие имения для удовлетворения казенного требования) отнимали у людей имение, честь, жизнь? Я размышлял, каким бы образом могло сие происшествие достигнуть до слуха верховных власти. Ибо справедливо думал, что в самодержавном правлении она одна в отношении других может быть беспристрастна. – Но не могу ли я принять на себя его защиту? Я напишу жалобницу в высшее правительство. Уподроблю все происшествие и представлю неправосудие судивших и невинность страждущего. – Но жалобницы от меня не примут. Спросят, какое я на то имею право; потребуют от меня верующего письма. – Какое имею право? Страждущее человечество. Человек, лишенный имения, чести, лишенный половины своей жизни, в самовольном изгнании, дабы избегнуть поносительного заточения. И на сие надобно верующее письмо? От кого? Ужели сего мало, что страждет мой согражданин? – Да и в том нет нужды. Он человек: вот мое право, вот верующее письмо. – О богочеловек! Почто писал ты закон твой для варваров? Они, крестясь во имя твое, кровавые приносят жертвы злобе. Почто ты для них мягкосерд был? Вместо обещания будущия казни, усугубил бы казнь настоящую и, совесть возжигая по мере злодеяния, не дал бы им покоя денноночно, доколь страданием своим не загладят все злое, еже сотворили. – Таковые размышления толико утомили мое тело, что я уснул весьма крепко и не просыпался долго.

Возмущенные соки мыслию стремились, мне спящу, к голове и, тревожа нежный состав моего мозга, возбудили в нем воображение. Несчетные картины представлялись мне во сне, но исчезали, как легкие в воздухе пары. Наконец, как то бывает, некоторое мозговое волокно, тронутое сильно восходящими из внутренних сосудов тела парами, задрожало долее других на несколько времени, и вот что я грезил.

Мне представилось, что я царь, шах, хан, король, бей, набаб, султан или какое-то сих названий нечто сидящее во власти на престоле.

Место моего восседания было из чистого золота и хитро искладенными драгими разного цвета камнями блистало лучезарно. Ничто сравниться не могло со блеском моих одежд. Глава моя украшалась венцом лавровым. Вокруг меня лежали знаки, власть мою изъявляющие. Здесь меч лежал на столпе, из серебра изваянном, на коем изображались морские и сухопутные сражения, взятие городов и прочее сего рода; везде видно было вверху имя мое, носимое Гением славы, над всеми сими подвигами парящим. Тут виден был скипетр мой, возлежащий на снопах, обильными класами отягченных, изваянных из чистого золота и природе совершенно

подражающих. На твердом коромысле возвешенные зрелися весы. В единой из чаш лежала книга с надписью «Закон милосердия»; в другой – книга же с надписью «Закон совести». Держава, из единого камня иссеченная, поддерживаема была грудю младенцев, из белого мрамора иссеченных. Венец мой возвышен был паче всего и возлежал на раменах сильного исполина, воскраие же его поддерживаемо было истиною. Огромной величины змия, из светлыя стали искованная, облежала вокруг всего седалища при его подножии и, конец хвоста в зеве держаща, изображала вечность.

Но не единые бездыханные изображения возвещали власть мою и величество. С робким подобострастием и взоры мои ловящи, стояли вокруг престола моего чины государственные. В некотором отдалении от престола моего толпилось бесчисленное множество народа, коего разные одежды, черты лица, осанка, вид и стан различие их племени возвещали. Трепетное их молчание уверяло меня, что они все воле моей подвластны. По сторонам, на несколько возвышенном месте, стояли женщины в великом множестве в прелестнейших и великолепнейших одеждах. Взоры их изъявляли удовольствие на меня смотреть и желания их стремились на предупреждение моих, если бы они возродились.

Глубочайшее в собрании сем присутствовало молчание; казалось, что все в ожидании были важного какого происшествия, от коего спокойствие и блаженство всего общества зависели. Обращенный сам в себя и чувствуя глубоко вкоренившуюся скуку в душе моей, от насыщающего скоро единообразия происходящую, я долг отдал естеству и, рот разинув до ушей, зевнул во всю мочь. Все вняли чувствованию души моей. Внезапу смятение распростерло мрачной покров свой по чертам веселия, улыбка улетала со уст нежности и блеск радования с ланит удовольствия. Искаженные взгляды и озиране являли нечаянное нашествие ужаса и предстоящие беды. Слышны были вздохи, колющие предтечи скорби; и уже начинало раздаваться задерживаемое присутствием страха стенание. Уже скорыми в сердца всех стопами шествовало отчаяние и смертные содрогания, самая кончины мучительнее. – Тронутый до внутренности сердца толико печальным зрелищем, ланитные мышцы нечувствительно стянулись ко ушам моим и, растягивая губы, произвели в чертах лица моего кривление, улыбке подобное, за коим я чхнул весьма звонко. Подобно как в мрачную атмосферу, густым туманом отягченную, проникает полуденный солнца луч, летит от жизненной его жаркости сгущенная парами влага и, разделенная в составе своем, частию, улегчась, стремительно возносится в неизмеримое пространство эфира и частию, удержав в себе одну только тяжесть земных частиц, падает низу стремительно, мрак, присутствовавший повсюду в небытии светозарного шара, исчезает весь вдруг и, сложив поспешно непроницательной свой покров, улетает на крылах мгновности, не оставляя по себе ниже знака своего присутствия, – тако при улыбке моей развеялся вид печали, на лицах всего собрания поселившийся; радость проникла сердца всех быстротечно, и не осталось косога вида неудовольствия нигде. Все начали восклицать: – Да здравствует наш великий государь, да здравствует навеки. – Подобно тихому полуденному ветру, помавающему листвия дерев и любострастное производящему в дубраве шумление, тако во всем собрании радостное шептание раздавалось. Иной вполголоса говорил: – Он усмирил внешних и внутренних врагов, расширил пределы отечества, покорил тысячи разных народов своей державе. Другой восклицал: – Он обогатил государство, расширил внутреннюю и внешнюю торговлю, он любит науки и искусства, поощряет земледелие и рукоделие. – Женщины с нежностью вещали: – Он не дал погибнуть тысячам полезных сограждан, избавя их до сосца еще гибельныя кончины. – Иной с важным видом возглашал: – Он умножил государственные доходы, народ облегчил от податей, доставил ему надежное пропитание. – Юношество, с восторгом руки на небо простирая, рекло: – Он милосерд, правдив, закон его для всех равен, он почитает себя первым его служителем. Он законодатель мудрый, судия правдивый, исполнитель ревностный, он паче всех царей велик, он вольность дарует всем.

Речи таковые, ударяя в тимпан моего уха, громко раздавались в душе моей. Похвалы сии истинными в разуме моем изображались, ибо сопутствуемы были искренности наружными чертами. Таковыми их приемля, душа моя возвышалась над обыкновенным зрением кругом; в существе своем расширялась и, вся объемля, касалась степеней божественной премудрости. Но ничто не сравнилось с удовольствием самоодобрения при раздавании моих приказаний. Первому военачальнику повелевал я идти с многочисленным войском на завоевание земли, целым небесным поясом от меня отделенной. – Государь, – отвечал он мне, – слава единая имени твоего победит народы, оную землю населяющие. Страх предшествовать будет оружию твоему, и возвращаясь, приносяй дань царей сильных. – Учредителю плавания я рек: – Да корабли мои рассеются по всем морям, да узрят их неведомые народы; флаг мой да известен будет на Севере, Востоке, Юге и Западе. – Исполню, государь, – и полетел на исполнение, яко ветер, определенный надувать ветрила корабельные. – Возвести до дальнейших пределов моя область, – рек я хранителю законов, – се день рождения моего, да ознаменится он в летописях навеки отпущением повсеместным. Да отверзнутся темницы, да изыдут преступники и да возвратятся в дома свои, яко заблудшие от истинного пути. – Милосердие твое, государь! есть образ всещедрого существа. Бегу возвестить радость скорбящим отцам по чадах их, супругам по супругам их. – Да воздвигнутся, – рек я первому зодчию, – великолепнейшие здания для убежища мусс, да украсятся подражаниями природы разнообразными; и да будут они ненарушимы, яко небесные жительницы, для них же они уготовляются. – О премудрый, – отвечал он мне, – егда велениям твоего гласа стихии повиновались и, совокупя силы свои, учреждали в пустынях и на дебрях обширные грады, превосходящие великолепием славнейшие в древности; колико маловажен будет сей труд для ревностных исполнителей твоих велений. Ты рек, и грубые строения припасы уже гласу твоему внемлют. – Да отверзется ныне, – рек я, – рука щедроты, да излиются остатки избытка на немощствующих, сокровища ненужные да возвратятся к их источнику. – О всещедрый владыко, всевышним нам дарованный, отец своих чад, обогатитель нищего, да будет твоя воля. – При всяком моем изречении все предстоящие восклицали радостно, и плескание рук не токмо сопровождало мое слово, но даже предупреждало мысль. Единая из всего собрания жена, облегшаяся твердо о столп, испускала вздохи скорби и являла вид презрения и негодования. Черты лица ее были суровы и платье простое. Голова ее покрыта была шляпою, когда все другие обнаженными стояли главами. – Кто сия? – вопрошал я близ стоящего меня. – Сия есть странница, нам неизвестная, именует себя Прямовзорой и глазным врачом. Но есть волхв опаснейший, носяй яд и отраву, радуется скорби и сокрушению; всегда нахмуренна, всех презирает и поносит; даже не щадит в ругании своем священныя твоя главы. – Почто ж злодейка сия терпима в моей области? Но о ней завтра. Сей день есть день милости и веселия. Приидите, сотрудники мои в ношении тяжкого бремени правления, примите достойное за труды и подвиги ваши воздаяние. – Тогда, восстав от места моего, возлагал я различные знаки почестей на предстоящих; отсутствующие забыты не были, но те, кои приятным видом словам моим шли во сретение, имели большую во благодеяниях моих долю.

По сем продолжал я мое слово: – Пойдем, столпы моей державы, опоры моей власти, пойдем усладиться по труде. Достойно бо, да вкусит трудившийся плода трудов своих. Достойно царю вкусити веселия, он же изливает многочисленные всем. Покажи нам путь к уготованному тобою празднеству, – рек я к учредителю веселий. – Мы тебе последуем. – Постой, – вещала мне странница от своего места, – постой и подойди ко мне. Я – врач, присланный к тебе и тебе подобным, да очисти зрение твое. Какие бельма! – сказала она с восклицанием. Некая невидимая сила нудила меня идти пред нее, хотя все меня окружавшие мне в том препятствовали, делая даже мне насилие.

– На обоих глазах бельма, – сказала странница, – а ты столь решительно судил о всем. – Потом коснулась обоим моим глаз и сняла с них толстую плену, подобну роговому раствору. – Ты видишь, – сказала она мне, – что ты был слеп и слеп совершенно. Я есмь Истина.

Всевышний, подвигнутый на жалость стенанием тебе подвластного народа, ниспослал меня с небесных кругов, да отжену темноту, проницанию взора твоего препятствующую. Я сие исполнила. Все вещи представляются днесь в естественном их виде взорам твоим. Ты проникнешь во внутренность сердец. Не утаится более от тебя змия, крыющаяся в излучинах душевных. Ты познаешь верных своих подданных, которые вдали от тебя не тебя любят, но любят отечество; которые готовы всегда на твое поражение, если оно отметит порабощение человека. Но не возмутят они гражданского покоя безвременно и без пользы. Их призови себе в друзья. Изжени сию гордую чернь, тебе предстоящую и прикрывшую срамоту души своей позлащенными одеждами. Они-то истинные твои злодеи, затмевающие очи твои и вход мне в твои чертоги воспрещающие. Един раз являюся я царям во все время их царствования, да познают меня в истинном моем виде; но я никогда не оставляю жилища смертных. Пребывание мое не есть в чертогах царских. Стража, обсевшая их вокруг и бдящая денноночно стоглазно, воспрещает мне вход в оные. Если когда проникну сию сплоченную толпу, то, подняв бич гонения, все тебя окружающие тшатся меня изгнать из обиталища твоего; бди убо, да паки не удалюся от тебя. Тогда словеса ласкательства, ядовитые пары издыхающие, бельма твои паки возродят, и кора, светом непроницаемая, покрывает твои очи. Тогда ослепление твое будет сугубо; едва на шаг один взоры твои досязатъ будут. Все в веселом являться тебе будет виде. Уши твои не возмутятся стенанием, но усладится слух сладкопением ежечасно. Жертвенные курения обыдут на лесь отверстую душу. Осязанию твоему подлежать будет всегда гладкость. Никогда не раздерет благотворная шероховатость в тебе нервов осязательности. Вострепещи теперь за таковое состояние. Туча вознесется над главой твоей, и стрелы карающего грома готовы будут на твое поражение. Но я, вещаю тебе, поживу в пределах твоего обладания. Егда восхощешь меня видети, егда, осажденная кознями ласкательства, душа твоя взалкает моего взора, воззови меня из твоея отдаленности; где слышен будет твердый мой глас, там меня и обрящешь. Не убойся гласа моего николи. Если из среды народныя возникнет муж, порицающий дела твоя, ведай, что той есть твой друг искренний. Чуждый надежды мзды, чуждый рабского трепета, он твердым гласом возвестит меня тебе. Блюдись и не дерзай его казнити, яко общего возмутителя. Призови его, угости его, яко странника. Ибо всяк, порицающий царя в самовластии его, есть странник земли, где все пред ним трепещет. Угости его, вещаю, почти его, да возвратившись возможен он паче и паче глаголати нельстиво. Но таковые твердые сердца бывают редки; едва един в целом столетии явится на светском ристалище. А дабы бдительность твоя не усыплялася негою власти, се кольцо дарую тебе, да возвестит оно тебе твою неправду, когда на нее дерзатъ будешь. Ибо ведай, что ты первейший в обществе можешь быть убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общия тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого. Ты виною будешь, если мать восплачет о сыне своем, убиенном на ратном поле, и жена о муже своем; ибо опасность плена едва оправдать может убийство, войною называемое. Ты виною будешь, если запустеет нива, если птенцы земледельца лишатся жизни у тощего без здравыя пищи сосца матерня. Но обрати теперь взоры свои на себя и на предстоящих тебе, воззри на исполнение твоих велений, и если душа твоя не содрогнется от ужаса при взоре таковом, то отыду от тебя, и чертог твой заглядится навсегда в памяти моей.

Изрекшия странницы лице казалось веселым и вещественным сияющее блеском. Воззрение на нее вливало в душу мою радость. Уже не чувствовал я в ней зыбей тщеславия и надутлости высокомерия. Я ощущал в ней тишину; волнение любочестия и обуревание властолюбия ее не касались. Одежды мои, столь блестящие, казались замараны кровию и омочены слезами. На перстах моих виделись мне остатки мозга человеческого; ноги мои стояли в тине. Вокруг меня стоящие являлись того скарее. Вся внутренность их казалась черною и сгораемую тусклым огнем ненасытности. Они метали на меня и друг на друга искаженные взоры, в коих господствовали хищность, зависть, коварство и ненависть. Военачальник мой, посланный на

завоевание, утопал в роскоши и веселии. В войсках подчиненности не было; воины мои почитались хуже скота. Не радели ни о их здравии, ни прокормлении; жизнь их ни во что вменялася; лишались они установленной платы, которая употреблялась на ненужное им украшение. Большая половина новых воинов умирали от небрежения начальников или ненужных и безвременных строгости. Казна, определенная на содержание всеполчения, была в руках учредителя веселостей. Знаки военного достоинства не храбрости были уделом, но подлого раболепия. Я зрел пред собою единого знаменитого по словесам военачальника, коего я отличными почтил знаками моего благоволения; я зрел ныне ясно, что все его отличное достоинство состояло в том только, что он пособием был в насыщении сладострастия своего начальника; и на оказание мужества не было ему даже случая, ибо он издали не видал неприятеля. От таких-то воинов я ждал себе новых венцов. Отвратил я взор мой от тысячи бедств, представившихся очам моим.

Корабли мои, назначенные да прейдут дальнейшие моря, видел я плавающими при устье пристанища. Начальник, полетевший для исполнения моих велений на крылех ветра, простерши на мягкой постеле свои члены, упоялся негою и любовью в объятиях наемной возбудительницы его сладострастия. На изготованном велением его чертеже совершенного в мечтании плавания уже видны были во всех частях мира новые острова, климату их свойственными плодами изобилующие. Обширные земли и многочисленные народы израждались из кисти новых сих путешественников. Уже при блеске ночных светильников начерталося величественное описание сего путешествия и сделанных приобретений слогом цветущим и великолепным. Уже золотые дски уготовлялись на одежду столь важного сочинения. О Кук! почто ты жизнь свою провел в трудах и лишениях? Почто скончал ее плачевным образом? Если бы воссел на сии корабли, то, в веселиях начав путешествие и в веселиях его скончая, столь же бы много сделал открытий, сидя на одном месте (и в моем государстве), толико же бы прославился; ибо ты бы почтен был твоим государем.

Подвиг мой, коим в ослеплении моем душа моя наиболее гордилася, – отпущение казни и прощение преступников едва видны были в обширности гражданских деяний. Веление мое или было совсем нарушено, обращаясь не в ту сторону, или не имело желаемого действия превратным оною толкованием и медлительным исполнением. Милосердие мое сделалось торговлею, и тому, кто давал больше, стучал молот жалости и великодушия. Вместо того чтобы в народе моем чрез отпущение вины прослыть милосердным, я прослыл обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом. – Удержи свое милосердие, – вешали тысячи гласов, – не возвещай нам его великолепным словом, если не хочешь его исполнить. Не соплощай с обидою насмешку, с тяжестью ее ощущение. Мы спали и были покойны, ты возмутил наш сон, мы бдеть не желали, ибо не над чем. – В созидании городов видел я одно расточение государственных казны, нередко омытой кровию и слезами моих подданных. В воздвижении великолепных зданий к расточению нередко присовокуплялося и непонятие о истинном искусстве. Я зрел расположение их внутреннее и внешнее без малейшего вкуса. Виды оных принадлежали веку готфов и вандалов. В жилище, для мусс изготованном, не зрел я лиующихся благотворно струев Касталии и Ипокрены, едва пресмыкающееся искусство дерзало возводить свои взоры выше очерченной обычаем округи. Зодчие, согбенные над чертежом здания, не о красоте оною помышляли, но как приобретут ею себе стяжание. Возгнушался я моего пышного тщеславия и отвратил очи мои. – Но паче всего язвило душу мою изливание моих щедрот. Я мнил в ослеплении моем, что ненужная казна общественная на государственные надобности не может лучше употребиться, как на вспоможение нищего, на одеяние нагого, на прокормление алчущего, или на поддержание погибающего противным случаем, или на мзду не радящему о стяжании достоинству и заслуге. Но сколь прискорбно было видеть, что щедроты мои изливались на богатого, на льстеца, на вероломного друга, на убийцу иногда тайного, на предателя и нарушителя общественной доверенности, на уловившего мое пристрастие, на снисходящего моим слабостям, на жену, кичащуюся своим бесстыдством. Едва-едва досязали слабые источники моего щедроты

застенчивого достоинства и стыдливые заслуги. Слезы пролились из очей моих и сокрыли от меня толь бедственные представления безрассудной моей щедроты. – Теперь ясно я видел, что знаки почестей, мною раздаваемые, всегда доставались в удел недостойным. Достоинство неопытное, пораженное первым блеском сих мнимых блаженств, вступало в единый путь с ласкательством и подлостью духа, на снискание почестей, вожделенной смертных мечты; но, влача косвенно стопы свои, всегда на первых степенях изнемогало и довольствоваться было осуждаемо собственным своим одобрением, во уверении, что почести мирские суть пепл и дым. Видя во всем толикую превратность, от слабости моей и коварства министров моих истекшую, видя, что нежность моя обращалась на жену, ищущую в любви моей удовлетворения своего только тщеславия и внешность только свою на услаждение мое устрояющую, когда сердце ее ощущало ко мне отвращение, – возревел я яростию гнева: – Недостойные преступники, злодеи! вещайте, почто во зло употребили доверенность господа вашего? предстаньте ныне пред судию вашего. Вострепещите в окаменелости злодеяния вашего. Чем можете оправдать дела ваши? Что скажете во извинение ваше? Се он, его же призову из хижины уничижения. – Прииди, – вещал я старцу, коего созерцал в крае обширных моя области, кроющегося под заросшею мхом хижиною, – прииди облегчить мое бремя; прииди и возврати покой томящемуся сердцу и востревоженному уму. – Изрекши сие, обратил я взор мой на мой сан, познал обширность моя обязанности, познал, откуда проистекает мое право и власть. Вострепетал во внутренности моей, убоялся служения моего. Кровь моя пришла в жестокое волнение, и я пробудился. – Еще не опомнившись, схватил я себя за палец, но тернового кольца на нем не было. О, если бы оно пребывало хотя на мизинце царей!

Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкою или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается.

## Подберезье

Насилу очнуться я мог от богатырского сна, в котором я столько сгрезил. – Голова моя была свинцовой тяжелее, хуже, нежели бывает с похмелья у пьяниц, которые по неделе пьют запоем. Не в состоянии я был продолжать пути и трястися на деревянных дрогах (пружин у кибитки моей не было). Я вынул домашний лечебник; искал, нет ли в нем рецепта от головной дурноты, происходящей от бреда во сне и наяву. Лекарство со мною хотя всегда ездило в запасе, но, по пословице: на всякого мудреца довольно простоты, – против бреда я себя не предостерег, и оттого голова моя, приехав на почтовый стан, была хуже болвана.

Вспомнил я, что некогда блаженной памяти нянюшка моя Клементьевна, по имени Прасковья, нареченная Пятница, охотница была до кофею и говаривала, что помогает он от головной боли. Как чашек пять выпью, – говаривала она, – так и свет вижу, а без того умерла бы в три дни.

Я взялся за нянюшкино лекарство, но, не привыкнув пить вдруг по пяти чашек, попотчевал излишне для меня сваренным молодого человека, который сидел на одной со мной лавке, но в другом углу у окна. – Благодарю усердно, – сказал он, взяв чашку с кофеем. – Приветливый вид, взгляд неробкий, вежливая осанка, казалось, не кстати были к длинному полукафтанию и к примазанным квасом волосам. Извини меня, читатель, в моем заключении, я родился и вырос в столице, и если кто не кудряв и не напудрен, того я ни во что не чту. Если ты и деревенщина и волос не пудришь, то не осуди, буде я на тебя не взгляну и пройду мимо.

Слово за слово я с новым моим знакомцем поладил. Узнал, что он был из новгородской семинарии и шел пешком в Петербург повидаться с дядею, который был секретарем в губернском штате. Но главное его намерение было, чтоб сыскать случай для приобретения науки. – Сколь великой недостаток еще у нас в пособиях просвещения, – говорил он мне. – Одно сведение латинского языка не может удовлетворить разума, алчущего науки. Виргилия, Горация, Тита Ливия, даже Тацита почти знаю наизусть, но когда сравню знания семинаристов с тем, что я имел случай по счастью моему узнать, то почитаю училище наше принадлежащим к прошедшим столетиям. Классические авторы нам все известны, но мы лучше знаем критические объяснения текстов, нежели то, что их доднесь делает приятными, что вечность для них уготовало. Нас учат философии, проходим мы логику, метафизику, ифику, богословию, но, по словам Кутейкина в «Недоросле», дойдем до конца философского учения и возвратимся вспять. Чему дивиться: Аристотель и схоластика донныне царствуют в семинариях. Я, по счастью моему, знаком стал в доме одного из губернских членов, в Новгороде, имел случай приобрести в оном малое знание во французском и немецком языках и пользовался книгами хозяина того дома. Какая разница в просвещении времен, когда один латинский язык был в училищах употребителен, с нынешним временем! Какое пособие к учению, когда науки не суть таинства, для сведущих латинский язык токмо отверстые, но преподаются на языке народном! – Но для чего, – прервав он свою речь, продолжал, – для чего не заведут у нас вышних училищ, в которых бы преподавались науки на языке общественном, на языке российском? Учение всем бы было внятнее; просвещение доходило бы до всех поспешнее, и одним поколением позже за одного латинщика нашлось бы двести человек просвещенных; по крайней мере в каждом суде был бы хотя один член, понимающий, что есть юриспруденция или законоучение. – Боже мой! – продолжал он с восклицанием, – если бы привести примеры из размышлений и разглагольствований судей наших о делах! Что бы сказали Гроций, Монтескью, Блекстон! – Ты читал Блекстона? – Читал первые две части, на российский язык переведенные. Не худо бы было заставлять судей наших иметь сию книгу вместо святцов, заставлять их чаще в нее заглядывать, нежели в календарь. Как не потужить, – повторил он, – что у нас нет училищ, где бы науки преподавались на языке народном.

Вошедший почталион помешал продолжению нашей беседы. Я успел семинаристу сказать, что скоро желание его исполнится, что уже есть повеление о учреждении новых университетов, где науки будут преподаваться по его желанию. – Пора, государь мой, пора...

Между тем как я платил почталиону прогонные деньги, семинарист вышел вон. Выходя, выронил небольшой пук бумаги. Я поднял упавшее и не отдал ему. Не обличи меня, любезный читатель, в моем воровстве; с таким условием я и тебе сообщу, что я подтибрил. Когда же прочтешь, то знаю, что кражи моей наружу не выведешь; ибо не тот один вор, кто крал, но и тот, кто принимал, – так писано в законе русском. Признаюсь, я на руку нечист; где что немного похожее на рассудительное увижу, то тотчас стяну; смотри, ты не клади мыслей плохо. – Читай, что мой семинарист говорит:

Кто мир нравственный уподобил колесу, тот, сказав великую истину, не иное что, может быть, сделал, как взглянул на круглый образ земли и других великих в пространстве носящихся тел, изрек только то, что зрел. Поступая в познании естества, откроют, может быть, смертные тайную связь веществ духовных или нравственных с веществами телесными или естественными; что причина всех перемен, превращений, превратностей мира нравственного или духовного зависит, может быть, от кругообразного вида нашего обиталища и других к солнечной системе принадлежащих тел, равно, как и оно, кругообразных и коловращающихся... – На мартиниста похоже, на ученика Шведенборга... Нет, мой друг! я пью и ем не для того только, чтоб быть живу, но для того, что в том нахожу немалое услаждение чувств. И покаюсь тебе, как отцу духовному, я лучше ночь просижу с пригоженькою девочкою и усну упоенный сладострастием в объятиях ее, нежели, зарывшись в еврейские или арабские буквы, в цифири или египетские иероглифы, потщуся отделить дух мой от тела и рыскать в пространных полях бредоумствований, подобен древним и новым духовным витязям. Когда умру, будет время довольно на неосязательность, и душенька моя набродится досыта.

Оглянись назад, кажется, еще время то за плечами близко, в которое царствовало суеверие и весь его причет: невежество, рабство, инквизиция и многое кое-что. Давно ли то было, как Вольтер кричал против суеверия до безгололицы; давно ли Фридрих неутолимой его был враг не токмо словом своим и деяниями, но, что для него страшнее, державным своим примером. Но в мире сем все приходит на прежнюю степень, ибо все в разрушении свое имеет начало. Животное, прозябаемое, рождается, растет, дабы произвести себе подобных, потом умереть и уступить им свое место. Бродящие народы собираются во грады, основывают царства, мужают, славятся, слабеют, изнемогают, разрушаются. Места пребывания их не видно; даже имена их погибнут. Христианское общество вначале было смиренно, кротко, скрывалось в пустынях и вертепах, потом усилилось, вознесло главу, устранилось своего пути, вдалось суеверию; в исступлении шло стезею, народам обыкновенною; воздвигло начальника, расширило его власть, и папа стал всесильный из царей. Лутер начал преобразование, воздвиг раскол, изъясняя из-под власти его и много имел последователей. Здание предубеждения о власти папской рушиться стало, стало исчезать и суеверие; истина нашла любителей, попрадала огромный оплот предрассуждений, но недолго пребывала в сей стезе. Вольность мыслей вдалась необузданности. Не было ничего святого, на все посягали. Дошед до краев возможности, вольномыслие возвратится вспять. Сия перемена в образе мыслей предстоит нашему времени. Не дошли еще до последнего края беспрепятственного вольномыслия, но многие уже начинают обращаться к суеверию. Разверни новейшие таинственные творения, возмнишь быти во времена схоластики и словопрений, когда о речениях заботился разум человеческий, не мысля о том, был ли в речении смысл; когда задачу любомудрия почиталось и на решение исследователей истины отдавали вопрос, сколько на игольном острии может уместиться душ.

Если потомкам нашим предлежит заблуждение, если, оставя естественность, гоняться будут за мечтаниями, то весьма полезной бы был труд писателя, показавшего нам из прежних деяний шествие разума человеческого, когда, сотрясший мглу предубеждений, он начал пре-

следовать истину до выпренности ее и когда, утомленный, так сказать, своим бодрствованием, растлевать начинал паки свои силы, томиться и ниспускаться в туманы предрассудков и суеверия. Труд сего писателя бесполезен не будет, ибо, обнажая шествие наших мыслей к истине и заблуждению, устранил хотя некоторых от пагубных стези и заградит полет невежества; блажен писатель, если творением своим мог просветить хотя единого, блажен, если в едином хотя сердце посеял добродетель.

Счастливыми назваться мы можем: ибо не будем свидетели крайнего посрамления разумных твари. Ближние наши потомки счастливее нас еще быть могут. Но пары, в грязи омерзения почившие, уже воздымаются и предопределяются объяти зрения круг. Блаженны, если не узрим нового Магомета; час заблуждения еще отдалится. Внемли, когда в умствованиях, когда в суждениях о вещах нравственных и духовных начинается ферментация и восстает муж твердый и предприимчивый на истину или на прельщение, тогда последует премена царств, тогда премена в исповеданиях.

На лестнице, по которой разум человеческий нисходить долженствует во тьму заблуждений, если покажем что-либо смешное и улыбкою соделаем добро, блаженны наречемся.

Бродя из умствования в умствование, о возлюбленные, блюдитесь, да не вступите на путь следующих исследований.

Вещал Акиба: вошел по стезе равви Иозуа в сокровенное место, и я познал тройственное. Познал 1-е: не на восток и не на запад, но на север и юг обращатися довлеет. Познал 2-е: не на ногах стоящему, но восседая надлежит испражняться. Познал 3-е: не десницею, но шуйцею отирать надлежит задняя. На сие возразил Бен Газас: дотоле обесстудил еси чело свое на учителя, да извергающего присматривал? Ответствовал он: сии суть таинства закона; и нужно было, да сотворю сотворенное и их познаю.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Смотри Белев словарь, статью Акиба.

## Новгород

Гордитесь, тщеславные созидатели градов, гордитесь, основатели государств; мечтайте, что слава имени вашего будет вечна; столпите камень на камень до самых облаков; иссекайте изображения ваших подвигов и надписи, дела ваши возвещающие. Полагайте твердые основания правления законом непрременным. Время с острым рядом зубов смеется вашему кичению. Где мудрые Солоновы и Ликурговы законы, вольность Афин и Спарты утверждавшие? – В книгах. – А на месте их пребывания пасутся рабы жезлом самовластия. – Где пышная Троя, где Карфага? – Едва ли видно место, где гордо они стояли. – Курится ли таинственно единому существу нетленная жертва во славных храмах Древнего Египта? Великолепные оных остатки служат убежищем блеющему скоту во время средиенного зноя. Не радостными слезами благодарения всевышнему отцу они орошаемы, но смрадными извержениями скотского тела. О! гордость, о! надменность человеческая, возри на сие и познай, колико ты ползуща!

В таковых размышлениях подъезжал я к Новгороду, смотря на множество монастырей, вокруг одного лежащих.

Сказывают, что все сии монастыри, даже и на пятнадцать верст расстоянием от города находящиеся, заключались в оном; что из стен его могло выходить до ста тысяч войска. Известно по летописям, что Новгород имел народное правление. Хотя у их были князья, но мало имели власти. Вся сила правления заключалась в посадниках и тысяцких. Народ в собрании своем на вече был истинный государь. Область Новгородская простиралась на севере даже за Волгу. Сие вольное государство стояло в Ганзейском союзе. Старинная речь: кто может стать против бога и великого Новагорода – служить может доказательством его могущества. Торговля была причиною его возвышения. Внутренние несогласия и хищный сосед совершили его падение.

На мосту вышел я из кибитки моей, дабы насладиться зрелищем течения Волхова. Не можно было, чтобы не пришел мне на память поступок царя Ивана Васильевича по взятии Новагорода. Уязвленный сопротивлением сея республики, сей гордый, зверский, но умный властитель хотел ее разорить до основания. Мне зрится он с долбнею на мосту стоящ, так иные повествуют, приносяй на жертву ярости своей старейших и начальников новгородских. Но какое он имел право свирепствовать против них; какое он имел право присвоить Новгород? То ли, что первые великие князья российские жили в сем городе? Или что он писался царем всея Руси? Или что новгородцы были славенского племени? Но на что право, когда действует сила? Может ли оно существовать, когда решение запечатлется кровию народов? Может ли существовать право, когда нет силы на приведение его в действительность? Много было писано о праве народов; нередко имеют на него ссылку; но законоучители не помышляли, может ли быть между народами судия. Когда возникают между ими вражды, когда ненависть или корысть устремляет их друг на друга, судия их есть меч. Кто пал мертв или обезоружен, тот и виновен; повинется непрекословно сему решению, и апелляции на оное нет. – Вот почему Новгород принадлежал царю Ивану Васильевичу. Вот для чего он его разорил и дымящиеся его остатки себе присвоил. – Нужда, желание безопасности и сохранности созидают царства; разрушают их несогласие, ухищрение и сила. – Что ж есть право народное? – Народы, говорят законоучители, находятся один в рассуждении другого в таком же положении, как человек находится в отношении другого в естественном состоянии. – Вопрос: в естественном состоянии человека какие суть его права? Ответ: взгляни на него. Он наг, алчущ, жаждущ. Все, что взять может на удовлетворение своих нужд, все присвоет. Если бы что тому воспрепятствовать захотело, он препятствие удалит, разрушит и приобретет желаемое. Вопрос: если на пути удовлетворения нуждам своим он обрящет подобного себе, если, например, двое, чувствуя голод, восхотят насытиться одним куском, – кто из двух большее к приобретению имеет право? Ответ:

тот, кто кусок возьмет. Вопрос: кто же возьмет кусок? Ответ: кто сильнее. – Неужели сие есть право естественное, неужели се основание права народного? – Примеры всех времен свидетельствуют, что право без силы было всегда в исполнении почитаемо пустым словом. – Вопрос: что есть право гражданское? Ответ: кто едет на почте, тот пустяками не занимается и думает, как бы лошадей поскорее промыслить.

## Из летописи новгородской

Новгородцы с великим князем Ярославом Ярославичем вели войну и заключили письменное примирение. —

Новгородцы сочинили письмо для защищения своих вольностей и утвердили оное пятидесятью осьмию печатями. —

Новгородцы запретили у себя обращение чеканной монеты, введенной татарами в обращение. —

Новгород в 1420 году начал бить свою монету. —

Новгород стоял в Ганзейском союзе. —

В Новгороде был колокол, по звону которого народ собирался на вече для рассуждения о вещах общественных. —

Царь Иван письмо и колокол у новгородцев отнял. —

Потом – в 1500 году – в 1600 году – в 1700 году – году – году – Новгород стоял на прежнем месте.

Но не все думать о старине, не все думать о завтрашнем дне. Если беспрестанно буду глядеть на небо, не смотря на то, что под ногами, то скоро споткнусь и упаду в грязь... размышлял я. Как ни тужи, а Новгорода по-прежнему не населишь. Что бог даст вперед. Теперь пора ужинать. Пойду к Карпу Дементьичу.

– Ба! ба! ба! добро пожаловать, откуда бог принес, – говорил мне приятель мой Карп Дементьич, прежде сего купец третьей гильдии, а ныне именитой гражданин. – По пословице, счастливой к обеду. Милости просим садиться. – Да что за пир у тебя? – Благодетель мой, я женил вчера парня своего. – Благодетель твой, – подумал я, – не без причины он меня так величает. Я ему, как и другие, пособил записаться в именитые граждане. Дед мой будто должен был по векселю 1000 рублей, кому, того не знаю, с 1737 году. Карп Дементьич в 1780 вексель где-то купил и какой-то приладил к нему протест. Явился он ко мне с искусным стряпчим, и в то время взяли они с меня милостиво одни только проценты за 50 лет, а занятой капитал мне весь подарили. – Карп Дементьич человек признательной. – Невестка, водки нечаянному гостю. – Я водки не пью. – Да хотя прикушай. Здоровья молодых... – и сели ужинать.

По одну сторону меня сел сын хозяйский, а по другую посадил Карп Дементьич свою молодую невестку... Прервем речь, читатель. Дай мне карандаш и листочек бумажки. Я тебе во удовольствие нарисую всю честную компанию и тем тебя причастным сделаю свадебной пирушки, хотя бы ты на Алеутских островах бобров ловил. Если точных не спишу портретов, то доволен буду их силуэтами. Лаватер и по них учит узнавать, кто умен и кто глуп.

Карп Дементьич – седая борода, в восемь вершков от нижней губы. Нос кляпом, глаза ввалились, брови как смоль, кланяется об руку, бороду гладит, всех величает: благодетель мой.

Аксинья Парфентьевна, любезная его супруга. В шестьдесят лет бела как снег и красна как маков цвет, губки всегда сжимает кольцом; ренского выпьет перед обедом полчарочки при гостях да в чулане стаканчик водки. Приказчик мужнин хозяину на счете показывает... По приказанию Аксиньи Парфентьевны куплено годового запаса 3 пуда белил ржевских и 30 фунтов румян миртовых... Приказчики мужнины – Аксиньины камердинеры. – Алексей Карпович, сосед мой застойной. Ни уса, ни бороды, а нос уже багровый, бровями моргает, в кружок острижен, кланяется гусем, отряхая голову и поправляя волосы. В Петербурге был сидельцем. На аршин когда меряет, то спускает на вершок; за то его отец любит, как сам себя; на пятнадцатом году матери дал оплеуху – Парасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна. Зубы как уголь. Брови в нитку, чернее сажи. В компании сидит, потупя глаза, но во весь день от окошка не отходит и пялит глаза на всякого мужчину. Под вечерок стоит у калитки. – Глаз

один подбит. Подарок ее любезного муженька для первого дни, – а у кого догадка есть, тот знает, за что.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.